Цена 6 коп.

Индекс 70666

БИБЛИОТЕКА



№ 15 1963



Владимир СОЛОУХИН

КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 15

Владимир СОЛОУХИН

КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1963

Владимир СОЛОУХИН

Владимир Алексеевич Солоухин родился 14 июня 1924 года в селе Алепине, Владимирской области, в семье крестьянина.

Окончил Механический техникум во Владимире в 1942 году с дипломом техника-технолога по инструментальному производству.

С августа 1942 года по июнь 1946 года служил в рядах Советской Армии.

После демобилизации учился в Литературном институте имени А. М. Горького. С 1951 года по 1957 год работал в качестве корреспондента-очеркиста в журнале «Огонек».

Член КПСС с 1952 года.

В. Солоухин — автор книг стихов: «Дождь в степи», «Разрыв-трава», «Ручьи на асфальте», «Колодец», «Журавлиха», «Как выпить солнце», «Имеющий в руках цветы». Им написаны книги очерков: «За синь-морями», «Золотое дно», «Степная быль», «Ветер странствий», «Открытки из Вьетнама», а также две лирические повести: «Владимирские проселки» и «Капля росы».

КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек,— такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Толька ответил: для тепла. Понимаете теперь, как мы дорожили каждой крупицей этого драгоценного, этого чудесного «нечто», которое называется теплом.

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась с угла на угол, и тогда по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Операция была проста и изящна. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густоокрашенные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы зябли под своими общежитейскими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой дровяного тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние подростки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали по четыреста граммов хлеба. Мы съедали его за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре хлеб стоил девяносто рублей за буханку, то есть примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать

рублей бутылка, а сливочное масло — шестьсот рублей за килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно лишь стояло в воображении каждого человека, как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное только в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого, плотного куска даже в нашей комнате. Да-да. И рядом с ним еще лежала там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой ломоть запеченной в тесте баранины. Все это помещалось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не отличалась от четырех остальных наших тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку (пусто и бесприютно показалось бы ему там!), а на Мишкиной висел замок. По размерам и тяжести висеть бы этому замку на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней нельзя, потому что она Мишкина и на ней замок. Неприкосновенность же любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли очистительных революций.

Мишка был родом из деревни неподалеку от города. Каждое воскресенье он ходил домой и приносил свежую обильную еду. Его красная круглая харя с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст поесть и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

— Ну, ничего, не горюй, как-нибудь переживем.— Рот его в

это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных оргиях. На тумбочке бесстрастно поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику День Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что тоже пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли принести мне ветчины или сметаны, но на черный хлеб полная гарантия. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа, и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встреч ветра. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь, и думаешь о том, какой ты сильный, стойкий, и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девчонка Оксана, по взгляду которой ты привык мерить, однако, все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо вооруженных солдат, либо ящики с оружием и на поднимание руки не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть.

Назад страшно и оглянуться — такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависала над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что, хотя бы и за плотными тучами, должны были брезжить последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге. Снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек — высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого, небось, не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я

старался тянуться за ним, хотя и чувствовал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я из-за этого могу обессилеть раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет всего лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне после него еще идти двадцать километров. Да... наверное, самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если есть звездочки и если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст, и для того, чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом чистой воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, нарезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и когда во время еды с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Также продавали до войны сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль, что надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей хлеба и еще чего-нибудь. Но когда голоден, когда на этот кусок вся надежда...

«Значит, что же, вроде милостыни получится? Как, бывало, дурачок Костя просил: подайте Христа ради,—так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?»

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. «А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три, да там двадцать. Не дойдешь». А если ночевать пустит, то, небось, и поесть даст. Факт. Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уж уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...

— Война, брат, переживать надо,— говорит между тем спутник, не сбавляя хода.

Наверно, мой вид, мои подшитые валенки, мое демисезонное

пальтишко, моя усталость, мой голод,— наверное, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы он меня взялся утешать.

— Теперь все переживают. На фронте переживают — смерти ждут; здесь матерям да женам за своих страшно — опять переживания. А у кого уж убили, кому похоронные пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки-ноги целы, идем к себе домой, а не где-нибудь в окопе лежим. Значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, как точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не переживать?» — зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время разобрался: сердиться мне на него не за что. За что сердиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? «Я так на него злюсь,— думал я,— как будто я уж попросил хлеба, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал, за что же злиться? А может, он и хлеба даст и ночевать пустит — ничего неизвестно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы мужчина к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

— Ну, бывай здоров, не падай духом, ничего...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, кто знает. Так или иначе, мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами дорогу перемело, так что шагов десять приходилось идти по переметенному, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять услышать ногами твердую дорогу. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело.

Впрочем, дорога была не узка в этом месте. Когда-то здесь прошла колонна военных машин, и хоть колею давно уже замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки из всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое,— мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови — никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислушиваются к

вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках, крестясь, говорят: не приведи господи оказаться в поле в такую пору... Даже если кошка дома, то рады и за кошку: сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, начинаю потеть.

Неприятная липкая испарина выступила по всему телу, и словно бы вместе с ней ушли, испарились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорей всего спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, сразу бы заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и ноги мои механически переступали с места на место, приминая рыхлый снежок и почти не подвигая меня вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно из молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну. Не может быть, ну, не может быть, что я здесь погибну. Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь случится, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно ведь только дойти — и все. А дома есть и валенки и, конечно, есть у матери припрятанная на случай пачка папирос. Но что же все-таки случится такое волшебное, чудесное, что поможет мне дойти, что? Что?

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только на свои ноги) как бы отбрасывают некую тень да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся.

Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное. По застарелой колее, беспорядочно разбрасывая фарный свет то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий автомобиль. Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер»,— это безразлично, главное — автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой нелепой заснеженной черноте.

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился

здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я вежливо отошел в сторонку, и кажется, даже не сделал самого простого — не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрызгивая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, подобрав последние крохи сил, побегу, а потом буду карабкаться и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И не удивительно. Удивительно было другое — как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась.

Я понял, что машина остановилась, когда начало там мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Воображение подсказало, как люди вышли из кабины и теперь осматривают колеса и ту яму, в которую эти колеса провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины, или машина стронется с места. Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы. Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать и силуэт машины, еще более темный, чем сама ночь.

Когда я подбрел к задку автомобиля, людей около нее уж не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня, так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь зацепочку, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду не дернулся вдаль от моих рук задок автомобиля, только бы не дернулся теперь, когда я уж почти ухватился за него.

Идти лишних три метра к кабине и спрашивать разрешения мне было невозможно. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то там на дороге, подпрыгнул и сдернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше переступать ногами и вообще двигаться, так и задремал.

Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы. Что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова и от которого до нашего села четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине его так и не знают, что подвезли случайного попутчика, и мало того, что подвезли,— вероятно, спасли от замерзания.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне было нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня другого выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но все же зачем-то я брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Чаще всего, конечно, печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом, набраться смелости и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра избяного тепла, а может быть, сливалось с шумом ветра и с разными там метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальцев и вскоре достиг успеха. Что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и вот голос совсем близко от меня, за дверью, спросил:

— Вам кого?

— Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.

— Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?

— Да не мужик я, ну, вроде бы... одним словом, студент.

— Откуда идешь-то?

— Из Владимира.

— Чай, не с самого Владимира пешком?

— То-то из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, ерзает им из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить. Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, разморило окончательно. Я сидел на лавке без желания пошевелиться и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят — пятьдесят пять, значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, из печки, погремев ухватом, небольшой чугунок.

— Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Ну, то есть сбывалось все точь-в-точь, как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком. И ломоть хлеба казался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

— Сколько исполнилось-то? — наконец спросила она.

— Семнадцать.

— Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда? — Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала), и шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь, и проходила тут жизнь русской женщины тети Маши, пустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда, единственное, чем я мог ответить тете Маше за ее приют и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой.

Писал Миша о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть, и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она, конечно, прошла и Мишу в госпитале отыскала. Он оказался раненным и, кроме того, весь обмороженный, так что, как тетя Маша на него взглянула, так будто бы и поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние. Но сидеть не пришлось: очень уж Миша просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника кружку молока. Большая была кружка у нас... Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Миша еще мальчонкой играл с ней или по крайней мере часто ронял.

Уж если женщина сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о всех дорожных приключениях, и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мише бидон самого лучшего коровьего молока. «Я и больше бы захватила. Зима, не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?»

Тетя Маша замолчала надолго, и я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

— Ну и что же, успел он попить-то или уж не успел?

— Успел,— ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеялишко поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось там в них за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы — неизвестно. Но

вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у ней мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне уж не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему, такому же горю. Это было бы точно так же, если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Переночевав дома одну ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям по студеному, голодному общежитию.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги — нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и таким образом идти мне оставалось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая из всего нашего курса синеглазая девчонка. Я уж давно заметил за собой, что если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно даже сказать, редчайшим грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти

проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

— Ну, куда тебе? — грозно спросил шофер, выйдя из кабины.— Спирт есть?

— Нету, какой может быть спирт?

— Табак, папиросы?

— Нету.

— Сало? Э, да что с тобой разговаривать! — Он пошел в кабину, и уж угрожающе зарычал мотор.

— Дяденька, дяденька, не уезжайте. У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.— Мотор перестал рычать.

— Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что, может быть, шофер соблазнится, отрежет от него часть и за это довезет меня до Владимира.

— Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

— Комендант запер чердак на пудовый замок. (Эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться.) А кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его... Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

— А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька Пономарев.

— Был,— удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками.— А ты как узнал?

— Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

— Так ты, что же, так ничего и не ел целый день? — вдруг догадался Генка Перов.— Хоть бы краюху отломил от того каравая.

— Каравай-то я вам нес, думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски... С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

— Слушай,— обратились к нему ребята.— Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом. Он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

— А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже, как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь, вы какие ловкие, в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается!

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая и бесстыдная ложь — все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещей, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

— А вот я и проверю,—твердо, как мне показалось, крикнул я, поднимаясь с койки и путаясь ногами в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обыкновенно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку с угла на угол, отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака, и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире!

Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия, мой Зимний дворец и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз и два — и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатилась стеклянная банка со сли-

вочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

— Приказываю все это съесть, а тумбочку сжечь в печке,— будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался. Но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.

СВИДАНИЕ В ВЯЗНИКАХ

Я несколько раз подряд произнес вслух название этого городка: Вязники... Вязники... Вязники...

Странно, что сердцебиение мое по-прежнему осталось спокойным. Но все же какой-то легкий, сковывающий холодок послышался около сердца. Что-то слегка сжалось там, какая-то, значит, хотя бы и одна, хотя бы и последняя, хотя бы и вконец перержавевшая струнка слабеньким дребезжанием отозвалась на звучание этого слова: Вязники...

Мы с приятелем лежали каждый на своей койке в душном номере гостиницы и размышляли, каким образом нам поскорее уехать в Москву: то ли на поезде, то ли пойти на площадь и голосовать проходящим машинам, то ли дождаться рейсового автобуса. Мы могли бы немедленно выбрать любой вид транспорта, но нам было лень выходить на жару, и вот мы лежали и думали.

Мой приятель — художник. Путешествуя, бродя по земле, мы пришли в городок, расположенный на высоком берегу Клязьмы и весь утонувший в зеленых, главным образом вишневых, садах.

Я первый раз попал в этот городок, хотя услышал о нем впервые двадцать лет назад. В те времена для меня, шестнадцатилетнего подростка, он не имел ни одной конкретной черты: ни вишневых садов, ни бойкого базара, заваленного грибами, лесными ягодами и деревянными ложками, ни главной площади с толпящимися по ее краям пропыленными автомобилями, ни изогнутых улочек, то карабкающихся вверх, в гору, то сбегающих с крутой горы, ни широкого вида на Клязьму,

размашисто брошенную в зелень поймы, ни туманных далей заклязьменского Ярополческого бора.

Это все я увидел в последние три дня. Тогда, двадцать лет назад, город не имел для меня ни одной конкретной черты. Но было слово. И была девушка. И было ее певучее имя. И она была из Вязников. И каждый раз, когда кто-нибудь говорил слово «Вязники», мне казалось, что все тотчас поворачиваются ко мне и смотрят на меня пристально и всем ясно, что я день и ночь, день и ночь думаю только про нее.

Нет, не думаю — это не то слово... Что я день и ночь... Ну что? Ну что? Живу ею? Дышу ею? Мучаюсь? Болею? Страдаю? Казнюсь? Ну, какие там есть еще слова? Вернемся к самому точному и единственному: мне казалось, что всем сейчас станет ясно, как я день и ночь, день и ночь ее люблю.

Да, вспомнил. Курить я начал из-за нее; вино начал пить из-за нее; в карты играть — из-за нее; стихи писать — из-за нее. Кажется, собраны все главные человеческие пороки, а между тем не было любви светлее и чище, чем моя мальчишеская любовь.

Ромео все же целовал свою Джульетту, дотрагивался до нее, а пение жаворонка заставало их в объятиях друг друга. Если бы тогда все получилось так, что она подошла бы и поцеловала меня или я поцеловал бы ее... Да, конечно, из-за нее же у меня в жизни не было первого поцелуя. Настоящего первого поцелуя, а не такого, что я когда-нибудь полушутя-полувсерьез схватил на гулянье, к примеру, Надюшку Балдову да и поцеловал при всех, а она засмеялась и вдогонку звонко шлепнула меня ладонью промежду лопаток.

Не было первого поцелуя. А между тем, может быть, когда я буду помирать и всю свою богато и радостно прожитую жизнь с ревущими поездами и молчаливыми тропинками, голубизной Адриатики и развалинами Самарканда, музыкой и картинными галереями, рыбной ловлей и восхождением на горные вершины, говорливым таянием снегов и безмолвными листопадами, бессонными ночами за рабочим столом и восторгами удач, женской любовью и лепетанием ребенка... Нет, конечно, задним числом, теперь я не смог бы отдать всей моей жизни за единственный поцелуй ветреной той девчонки, но если бы мне представился выбор тогда...

Не было первого поцелуя. Нам всем было по шестнадцати лет (впрочем, к концу учебы стало по девятнадцати), и ей, значит, было столько же. Была ли она самой красивой девушкой из всего техникума? Наверно. Множество старшекурсников, городских, более смелых и находчивых, чем я, деревенский недотепа, всегда окружало ее.

Я таился, но все равно скоро все узнали, что я, Гога (иначе меня не называли на курсе), безмолвно и беззаветно люблю эту девушку.

Сначала ее подруги смотрели на меня с усмешкой, потом с удивлением, а потом, к концу учебы, то есть к концу третьего года, с завистью и грустью в глазах. Как я теперь понимаю, грусть и зависть происходили оттого, что не на их долю досталась такая упрямая, такая единственная любовь.

Если знали подруги, значит, знала и она сама. Мы учились на одном курсе и виделись каждый день по нескольку часов кряду. Невозможно было бы три года не разговаривать, не попросить учебника, рейсфедера, чертежа, совета да и просто решения задачки. Но ни разу мы не остались вдвоем хотя бы на одну минуту. Надо полагать, она не хотела и боялась этого. Да нет, просто она меня не любила. Хотя вспоминаю: к концу учебы что-то оттаивало, что-то теплое стало появляться в ней. Скорее всего это была либо жалость, либо, может быть, благодарность к своему рыцарю за железное постоянство.

И был один вечер. Она пришла в гости в общежитие к своим подругам (сама жила у тетки на улице Карла Маркса). Я в это время сидел у девчонок в комнате. Постепенно, постепенно — я не заметил как, и Рая Фалалеева, и Зоя Постнова, и Тоня Миронова, и Нина Теплухина — все вышли из комнаты. Мы сидели за столом, на котором лежала большая чертежная доска. К доске был приколот чертеж. Стол с доской и чертежом разделял нас. Мы сидели друг против друга и говорили. Впервые за три года. Это было похоже, как если бы весной все держали и держали морозы и вдруг однажды утром — южный ветер, влага и теплые дожди, омывающие озябшие ветки деревьев, землю... Еще день-два, и все вспыхнет яркими земными цветами.

Щеки ее горели, глаза... тепло и сияюще было в глазах. А про себя я ничего не помню. Нет-нет, мы говорили не о наших отношениях друг с другом, а о всякой всячине, что-то вспоминали из детства, она из своего, я из своего: кто любит какие цветы, кто любит дождь, кто зиму... Оказалось, что она любит ландыши.

Два часа разговоров о всякой всячине не так уж много для трех лет. Теплый дождь прошел, но земные цветы не вспыхнули, потому что через день-два всех нас, парней — выпускников 1942 года, увозили из Владимира поезда. И были уж мы в шинелях.

Учились мы во Владимире, а родом она была из Вязников. Слово «Вязники» было связано с нею. Вот почему я удивился, когда при произнесении слова «Вязники» три раза подряд сердце мое по-прежнему оставалось спокойно. Но все же какой-то

легкий, сладковатый холодок послышался около сердца, что-то слегка сжалось там, какая-то, хотя бы и одна, хотя бы и последняя, хотя бы и вконец перержавевшая струнка слабеньким дребезжанием отозвалась на звук этого слова: Вязники...

Приятель лежал, водрузив свои длинные волосатые ноги (штаны сбились к коленкам) на железную спинку кровати, а руки заложив за голову.

— Слушай, друг,— сказал я ему.— Давай отложим отъезд еще на один день.

— Почто?

— Ну, напишешь еще один этюдик. Знаешь, там, с горки... Плетень какой-нибудь, или дворик, или старое дерево... А у меня есть дело. Я вспомнил, что здесь, в Вязниках, когда-то жил мой товарищ. Может быть, я нападу на его след.

Итак, ехать нужно в Ярцево — поселок, примыкающий к городу; я помню, что Ярцево упоминалось в разговоре двадцать лет назад, иначе откуда бы я вообще узнал про Ярцево?

На площади, возле низкой чугунной решетки, стоят столбы. К столбам прикреплены красные железные таблички. Тут останавливаются автобусы. Народ сидит в ожидании их вроде как беспорядочно, но каждый знает, к какому столбу ему в случае чего бежать и за кем становиться.

В тесном автобусе нельзя было смотреть из окна, куда именно он везет и какие улицы и дома пробегают мимо. Чувствовалось лишь, что потихоньку лезем в гору, круто поворачивая время от времени.

— Ярцево,— объявил кондуктор.

Я поймал себя на том, что взволнован. Конечно, вряд ли совпадет так, что она живет теперь в Вязниках. Да и вообще, чего только не могло случиться за двадцать лет! Но все равно я узнаю что-нибудь о ее судьбе, увижу, вероятно, ее мать, комнату...

Однако сначала я пошел через поселок на край обрыва (потом оказалось, что это место называется у них Венец) и некоторое время сидел над обрывом, глядя на сады, вздымающиеся клубами зеленого дыма внизу подо мной, на извилистую ленту Клязьмы пониже садов, на зеркальные осколки продолговатых озер, разбросанных там и сям по заречной пойме.

«Гуляла ли она когда-нибудь над этим обрывом? Ходила ли сюда одна? Или все больше на танцплощадку? Ах, какое мне до этого дело?»

В Ярцеве было только одно почтовое отделение.

— Вы должны знать. Оксана Сергеевна Потапенко. И мать ее Потапенко.

— Это что же, Татьяна Петровна?

— Вероятно, Татьяна Петровна. Здесь ведь не Полтава, не может быть, чтобы в Ярцеве много Потапенок.

— Потапенко-то есть, но разве мы помним все адреса. Вон идет письмоносец, она вам скажет.

Из окошечка выглядывали любопытные девичьи лица: почувствовали, что тут неспроста, что кроется тут некая сердечная подоплека.

Письмоносец без обиняков пошла проводить меня до подъезда.

— Вот тут и живут Потапенки. Только вряд ли кого застанете. Сама-то теперь на пенсию вышла, все больше у дочери живет, внучку нянчит.

— Да где у дочери?

— Как где, в Давыдкове. Станция такая есть, верст шестнадцать. Зять-то там инженером работает, ну и Оксана там, и Светочка, дочка, значит, ну и сама все больше у них да у них. А здесь, когда ни постучишь, все заперто.

— А как ее... новая фамилия? То есть инженера того как фамилия, который... стал ее мужем?

— Судаков. Судакова она теперь по мужу-то, а не Потапенко. Судакова Оксана Сергеевна.

— Судаков... Вы его когда-нибудь видели? Черненький? Небольшого росточка? Прихрамывает?

«Ну да, ясно, что он. С третьего курса парень. Мы еще учились, а он уж работать начал. Инструктором в мастерских. Значит, скоро встретимся, Яшка Судаков».

Через тридцать минут я уже был на вокзале и покупал билет Всю жизнь мечтал побывать в этом, как его, Давыдкове!

Я надеялся, что, может быть, мне удастся все же избежать встречи с ее мужем. Зачем мне это, хоть он и Яшка Судаков, у которого, помнится, когда мы засели за карты и играли со вторника до четверга, я сорвал большой банк. Хорошо сорвал: остановился на тринадцати (к тузу валет), а он, банкомет, прикупил к шестнадцати восьмерку. А рука моя была последняя. Яшка бросил колоду и сказал многозначительно: «Везет тебе, парень, в карты. Мне тебя, парень, жаль».

Но, в сущности, мы с ним были очень мало знакомы. Может быть, даже и не узнали бы друг друга на улице. А тут придется разговаривать, держать струну. Одна надежда, что инженер теперь должен быть на работе.

Давыдково оказалось таким населенным пунктом,— как только я сошел с поезда да прошел по перрону, так и наткнулся на Яшку, простите, на Якова Яковлевича Судакова.

— Здорово,— сказал Яков, как если бы мы с ним вчера вечером выпивали, а теперь встретились, чтобы опохмелиться.—

А Оксаны дома нет, она с утра уехала в Вязники. Ну, пойдем, посидишь, дождешься.

Мы пошли вдоль улицы, состоявшей как бы из одних палисадников. Шли почти всю дорогу молча.

— Ты вроде пишешь там в газетах, в журнале. Оксана недавно стихотворение из численника вырезала. Где-то у нее спрятанное лежит. «Гога,— говорит,— написал».

— Пишу.

В комнате, или, лучше сказать, в избе (они занимали большую деревенского склада избу) тоже все больше помалкивали.

— Вот альбом. Фотографии. Вот это еще техникум. Вот видишь, и твоя тут есть. А это в Румынии вскоре после женитьбы. Я тогда офицер был, а служил в Румынии. Это на курорте, в Сочи. Это так себе, любительские...

Оксана сидела в белом полотняном лифчике на постели, среди белых скомканных простыней.

— Контрастно очень вышло. Так нельзя, и света мало. Видишь, только белое и черное, а середины нет.

— Ты тоже, значит, балуешься?

— Снимаю, когда понадобится.

— А это в Вязниках, на Венце. Знаешь там обрыв? А это уж здесь, в Давыдкове...

— Дай я техникумовские погляжу. Знакомых ребят повспоминаю. Про кого знаешь?

— Почти все погибли. Нас ведь тогда всех вместе забрали, помнишь? Осень сорок второго. Сразу в огонь. Как все равно пучок соломы в костер подбросили. Ты-то как уцелел?

— Не знаю. В тыловую часть попал. В огонь не бросили. Дело случая. А ты?

— А я просто уцелел. Не всех же на войне убивали. Ну что же, пойдем, пока никого нет. Тут чайная рядышком.

— Жарко.

— Понемножечку.

В чайной не оказалось ни коньяку, ни водки.

— Хотите, открою портвейн,— предложила буфетчица.

Мы поглядели друг на друга. Я понял, что пить ему в жару не хочется, что он пришел сюда только ради меня. Что вообще ему нелегко развлекать меня, когда полдневное время почти не движется. А я и в худшие времена терпеть не мог никакого портвейна.

— Знаешь, давай отложим.

Мы пошли из чайной обратно по улице к его дому.

В дом вошла женщина, пожилая, худощавая, некогда очень красивая, с той сдержанностью в движениях, которая происходит от развитого чувства достоинства. Она пристально по-

смотрела на меня, и в ее черных, обведенных коричневым глазах почудилась настороженность.

Яков Яковлевич сослался на необходимость сбегать на завод и оставил меня одного с матерью Оксаны.

Женщина как бы не обращала на меня никакого внимания. Она в сенях делала что-то по хозяйству, кажется, перебирала ягоды на варенье.

— А вы, значит, Гога? — вдруг спросила она, мне показалось, прямо из сеней.

Не подняв головы, я увидел, что она стоит на пороге.

— Гога. Почему узнали?

— Чай, я все-таки мать. Долго же вы собирались навестить Оксану.

— Завихрения жизни.

— Вам виднее, вы человек высокий.

— Выше колокольни.

Женщина поставила на стол три тарелки пирожков и самовар.

— Давайте чаевничать. Ешьте пироги. Эти с черникой, эти с малиной, эти с черной смородиной. Иль, может, холодного молока вместо чаю? Жарко теперь.

— Давайте холодного молока.

Я все косил глазами на темно-синий жакетик, висевший на стуле. На лацкане горела крохотная, но яркая-яркая рубиновая звездочка, как если бы искорка от костра опустилась на лацкан.

— Звездочку признали?

— Признал.

— Давнишняя звездочка...

Некоторое время мы молчали.

— Она после техникума в мастерских стала работать и проработала там всю войну. Вас, парней, конечно, никого нет. Хоть бы кто-нибудь письмо написал. (Черные глаза впились в меня, сидящего напротив). Так, мол, и так, после войны вернемся... Поскучала она, покручинилась... Яков вернулся самый первый. Он не вернулся, правда, а в отпуск приехал. Ну, это все равно. С приездом — вечеринка. Кое-кто из техникумовских, все больше девушки. Потом опять вечеринка. Это мне сестра рассказывала, то есть тетка ее. Она ведь у сестры жила во Владимире. Ну, значит, кино, танцы. Отпуск у Якова короткий — все надо успеть. Поколебалась она — скрывать нечего. А к концу отпуска расписались, да и в Румынию. Да вы пирожки-то ешьте, с черникой вот, с черной смородиной... А у вас, что же, семья?

— Семья.

— Они тоже хорошо живут, жаловаться нечего. Внучка растет, Светланочка... Ну что же вам предложить, может отдохнуть приляжете? Или в лес хорошо прогуляться. У нас ведь кругом леса. Грибов в нынешнем году пропасть! Уж старики говорят, как бы войны не было. Яков каждый раз по триста штук одних белых приносит. А Оксана скоро приедет. Она скорей всего на четырехчасовой потрафит.

«Да, наверно, скоро приедет,— думал я.— Что же, пироги с черникой вместе есть будем да ледяным молоком запивать? Мне ведь не надо сидеть с ней за одним столом три часа, да еще мать, да еще муж рядом. Мне ведь нужны секунды. Глаза ее нужны, когда узнавать будет. А больше ничего. А пироги, бог с ними, когда-нибудь в другой раз. Уж лучше мельком, да один на один, чем здесь за столом, за чаем. А мать-то как взглядывает черными глазищами. Она все понимает, Татьяна Петровна Потапенко. Многоопытная, мудрая женщина!»

Мозг мой лихорадочно стал совершать арифметические действия с часами и минутами: «Ее поезд в четыре. На вокзал приедет за полчаса. Если я сейчас отсюда уеду, то я буду там как раз в половине четвертого. Встреча неизбежна. А если она не с четырехчасовым, а с шести? Подожду до шести. А если с восьми? Подожду до восьми. А если с двенадцати? Подожду до двенадцати».

— Ну что же, спасибо, Татьяна Петровна. Пироги вы готовите отличные.

— Зять не обижается. Да куда же вы, а Оксана? Она будет жалеть. Я знаю, что будет. Очень будет жалеть, поверьте.

— Оксана жалеть не будет. Поверьте и вы мне. До свидания. Якову привет! Извините, что не дождался его с завода. Да мне, право, некогда.

В Вязниковский вокзал, сойдя с поезда, я вошел вроде бы спокойно и равнодушно, а на самом деле весь как струна. В маленьком зале ожидания народу почти не было, так что я сразу увидел ее. Я подошел и встал в четырех шагах. Она сидела в три четверти оборота от меня, почти затылком, и кормила девочку мороженым. Девочка, значит, была ко мне лицом.

Заметив, что дочка на кого-то внимательно смотрит, мать тоже вскинула глаза (стоит какой-то тип в лыжных шароварах и клетчатой рубахе) и снова занялась мороженым. Но клетчатая рубаха осталась в уголышке зрения и не исчезала. Тогда женщина опять вскинула глаза и на этот раз опустила их не в первую долю секунды, а задержала чуть-чуть подольше, как раз настолько, чтобы уж не опускать совсем.

Глаза стали расширяться и темнеть. Глаза залило синевой, а синева сгустилась до цвета июльской грозовой тучи. Но вме-

сто молний, вместо зловещих теней и переливов, предшествующих обычно самому главному, самому страшному громовому удару, как бы легкий трепет солнца пробежал по темной синеве, насквозь пронизал, прогрел, просветил ее. Медленно, помимо своей воли, женщина приподнялась с коричневого вокзального дивана и вдруг, шумно вздохнув (а-ах!), опустилась снова на широкий диван...

— Я знала, я знала, я знала, что мы когда-нибудь обязательно встретимся... Никаких, никаких, никаких... Поедем обязательно к нам. Один раз за все двадцать лет. Разве можно? Вокруг нас густые-густые леса. Пойдем за грибами. Яков приносит по триста штук одних белых. Но, правда, ему некогда, он все больше на заводе.

Мне показалось, что при последних словах женщина смутилась и даже покраснела.

Да, иногда огромным усилием воли мне удавалось посмотреть на собеседницу не через ту давнишнюю, привычную мне Оксану, а как на женщину, случайно сидящую рядом на диване. Тогда я видел, что передо мной сидит молодая красивая синеглазая женщина, за которой можно и поухаживать. Вот она приглашает меня в лес по грибы. Не пойти ли?

Я посадил их в вагон, и ее и Светлану, а сам пошел вдоль поезда, вперед по перрону — именно там был выход с перрона на привокзальную площадь.

Поезд долго не трогался. То есть еще минут десять я стоял, прислонившись к стойке ворот, и ждал, когда их вагон проплывет мимо.

Оксана не удивилась (я ясно видел, что не удивилась), увидев меня в воротах, хоть, если попрощались десять минут назад, нечего было мне здесь торчать. Она благодарно помахала мне рукой, и дочка ее тоже помахала, может быть, по детской привычке махать, когда трогается поезд, может быть, ее попросила мать.

...Приятеля я застал все в том же положении, то есть водрузившим длинные ноги на железную спинку кровати, а руки запрокинутыми за голову.

— Возликуем?!

— Отменяется сухой закон?! — Ноги мгновенно оказались на полу.

— Путешествие ведь закончилось.

В столовой номер один, заменяющей вязничанам ресторан, нашелся «Горный дубняк».

— Нет, ты скажи, где ты был и что с тобой случилось? — Чайные стаканы отбрасывали на скатерть продолговатые золотистые тени. Через некоторое время мы позвонили местному

поэту Ивану Симонову, и он немедленно появился. Впрочем, может быть, он пришел не сразу — время для меня стало терять границы.

Иван Симонов, успевший быстро сравняться с нами, беспрерывно читал чужие стихи: «Хороша была Танюша, краше не было в селе, красной рюшкою по белу сарафан на подоле...», «Я вас любил: любовь еще быть может... То робостью, то ревностью томим...», «А что мне вокзальный порядок, связавший на миг вас со мной...».

Потом мне стало казаться, что я — это вовсе не я, тридцатипятилетний человек, имеющий за плечами большой опыт и десяток написанных книг, а шестнадцатилетний мальчишка. И что сижу я не в столовой номер один, а в студенческом общежитии на Студеной горе, и стоит мне только собраться с духом и преодолеть что-то непонятное и нелепое, и я через десять минут окажусь на улице Карла Маркса и вместо того, чтобы обходить ее дом за три квартала, взлечу на второй этаж, ударю в дверь кулаком, и на пороге появится она, синеглазая и золотоволосая девчонка с крохотной рубиновой звездочкой на груди, как будто огнённая, жгучая искорка прилетела из большого костра, опустилась, да так и прикипела к лацкану.

И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ

Мы путешествовали тогда по Киргизии. Мы — это я, начинающий журналист, мой напарник, уж не начинающий, а опытный, матерый журналист, фотокорреспондент Романыч и шофер Володя. Четвертым можно было бы назвать наш «газик», к которому мы привыкли, как к живому существу, пока карабкались вместе с ним по невероятным для неискушенного человеческого воображения горным дорогам.

Теперь мы ехали из Пржевальска во Фрунзе, вдоль северного берега Иссык-Куля. Мы выехали из города довольно рано, так что могли бы в этот день доехать до цели, но перед нами на каждом шагу открывались такие красоты, Иссык-Куль то и дело показывал нам такие образцы сочетания глубокой морской синевы и ослепительной белизны гор, что Романыч беспрестанно просил остановиться, выскакивал из машины, чтобы запечатлеть. А тут еще понадобится ему, чтобы вон то серебряное облачко приблизилось вон к той сиреневой горной вершине. Значит, сидим и ждем, когда облачко приблизится. Не удивительно поэтому, что день начал клониться к вечеру, а мы, спохватившись, увидели, что проехали очень мало.

— Пока светло, надо подумать о ночлеге,— скорее распорядился, чем внес предложение Володя.— Скоро будет детский санаторий, я думаю, там найдут для нас пустую комнату.

Через полчаса мы въехали в ярко разукрашенные ворота санатория.

Директриса, молодая, симпатичная женщина, показала нам комнату, велела в семь часов приходить на ужин, а пока что разрешила побродить по аллеям и дорожкам санатория. Мы побродили немного, читая разные детские лозунги, написанные на фанерных щитах, а потом уселись на решетчатый зеленый диван, чтобы на нем уж и скоротать время, остававшееся до ужина.

Мимо нас сновали пионеры — мальчики и девочки, так примерно пятого-шестого класса. Иногда проходили по дорожке воспитательницы — молодые загорелые женщины. Проходя мимо нас, они почему-то смущенно отводили глаза и густо краснели.

— Почему они смущаются? — вслух подумал я.

— А как им не смущаться?—тоже вслух начал размышлять Романыч.— Их здесь, молодых девушек, наверно, штук двадцать или тридцать. Живут в санатории: солнце, воздух и вода. Причем, какое солнце, какой воздух и какая вода! Опять же кумыс. А вокруг ведь одни детишки. Если бы были порядочные отдыхающие, конечно, те отучили бы их смущаться. А ты как думаешь, Володя?

Володя любил отвечать категорически.

— А я думаю, это все ерунда,— сказал он.— Просто парней давно не видели, вот и краснеют.

В это время на аллее появилась девушка, не заметить которую, вернее, не выделить которую из всех остальных было бы невозможно. Ее белые (еще, наверно, и выгорели на высокогорном солнце) волосы были заплетены в одну косу, толщиной — право же, не меньше! — ее собственной загорелой руки в том месте, где кончается коротенький ситцевый рукавчик. Доходила коса как раз до обреза платья. Она, должно быть, была тяжелая, эта коса, оттягивала голову немного назад, отчего девушка держалась необыкновенно прямо и выглядела бы даже горделивой, если бы не милое, застенчивое лицо.

— Девушка, у вас есть библиотека? — спросил я, когда она поравнялась с нами. Спросил, конечно, не ради книг, а ради того, чтобы хозяйка невиданной доселе косы хоть на полминуты задержалась. Ну, просто нельзя было так ничего и не спросить у этой девушки.

— Да, есть. Я как раз библиотекарь. Правда, теперь уж немного поздно, но если вы очень хотите...

— Не то, чтобы очень. Но у вас здесь так скучно. Танцев ведь не бывает?

— Ой, что вы, какие танцы!.. Дети...

— Чем же прикажете заниматься?

— Не знаю. Я, например, по вечерам катаюсь на лодке. Если хотите... И если не боитесь, конечно... Вон причал, видите? Приходите к нему, когда начнет темнеть.

Девушка уж скрылась из глаз за поворотом аллеи, а мы все еще смотрели ей вслед и не могли опомниться.

— Вот это да! — только и выговорили мы.

Тут вскоре подоспел ужин, с которым мы расправились за двадцать минут. Снова погуляли по дорожкам санатория. Снова уселись на диван.

— Ну что же ты? — удивился Романыч.— Смеркается. Неужели не хочешь воспользоваться приглашением?

— А ты думаешь, это была не шутка? Ты же знаешь, вечером здесь темно, как в бутылке с чернилами. Неужели ты думаешь, что девчонка действительно катается по Иссык-Кулю в такую темень? Наверно, она пошутила, чтобы отвязаться от нас.

— Может быть, и пошутила. Но если она придет, а ты нет, то получится, что ты испугался. Лучше уж прийти.

— Ты думаешь? Ну, ладно, пойду возьму куртку. На воде ночью холодно.

В синих высокогорных сумерках я сидел один у причала. Темная, прохладная синева расстелилась по дну долины и поднималась теперь все выше и выше, как будто сам Иссык-Куль, тоже прохладный и синий, пошел подниматься как на дрожжах, заполняя собой огромную каменную чашу. Только края чаши — зубчатые гребни гор — горели, вздымаясь над синевой, светились где розовыми, где красными, где лиловыми снегами. Последние лучи солнца, уже недоступные нам, микроскопическим существам, ползающим по дну долины, царственно покоились на поднебесных снегах.

Непривычное волнение охватило меня. Теперь уж мне хотелось, чтобы девушка обязательно пришла, чтобы все не оказалось просто шуткой.

Между тем горящие снега начали покрываться сизым пеплом, холодеть, стынуть, гаснуть. И вместе с тем как они гасли, все темнее и темнее становилось здесь у нас, на грешной земле.

— Вы уже здесь? — весело и непринужденно спросила девушка.— А я думала, испугаетесь. Помогите мне открыть замок, сейчас я принесу весла.

Цепи лязгнули в тишине.

— Грести умеете? Тогда садитесь на весла, а я оттолкнусь. Поехали.

Когда мы оттолкнулись, на берегу появился Романыч.

— Садись с нами,— предложил я и начал выгребать одним веслом, чтобы повернуть лодку.

— Нет, нет, я хотел что-то тебе сказать, но теперь уж ладно, счастливого пути!

Ничего себе путь! Высокогорная ночь опустилась мгновенно, как будто захлопнула нас крышкой в глухом чугунном котле. Ни близких берегов, ни далеких гор, ни даже воды вокруг лодки — ничего не было видно, одна чернота, в которой невозможно ориентироваться. А я-то знаю, что в темноте, пешком ли, на лодке ли, обязательно будешь ходить кругами, пока окончательно не закружишься. Между тем, судя по времени и по тому, как я греб, мы успели отъехать порядочно.

Я подумал о том, что не знаю, где берег, и что если бы сейчас остался один, совершенно не знал бы, куда теперь плыть, чтобы причалить к санаторию. Дело, видимо, было еще в том, что мы выехали из бухты и мыс загородил от нас то место, где в темноте спал теперь санаторий, а то какой-нибудь огонек, наверно, светился бы там.

А вдруг и она, эта взбалмошная девчонка, не ориентируется в темноте? Тогда придется ждать рассвета. Какое-нибудь течение унесет на середину озера. Да еще рассказывают, что временами налетает внезапный береговой ветер, который уносит и разбивает большие рыболовные суда, а не то что нашу деревянную лодчонку, в которой и повернуться-то нельзя, чтобы не опрокинуться.

Я бросил весла и еще раз огляделся. Нет, нигде ни огонька, ни намека на берег. Одинаковая холодная чернота.

— Что, все-таки страшно? — тихо рассмеялась спутница.— А я люблю. Люблю, чтобы совершенно одна. Чтобы страшно. Чтобы опасно. Прошу вас, гребите еще, гребите подальше от берега, туда, где ходят большие волны и откуда нам, может быть, не удастся вернуться.

Видя, что я не берусь за весла, Маша (а именно так звали девушку) категорически потребовала:

— Гребите, или я сейчас же переверну лодку.— При этом она действительно так начала раскачивать нашу ореховую скорлупку, что борта и справа и слева почерпнули понемногу воды.

Но все же, вместо того чтобы подчиниться ее нелепому требованию и грести, я протянул вперед руку и наткнулся как раз на руку Маши. Рука была теплая и добрая. Я потянул ее на себя, и Маша покорно пересела на мою скамейку. Я тихо обнял

девушку за плечи, накинул на нее половину своей курточки. А потом я взял ту самую руку, которая первой попалась мне в темноте, и поднес к губам. Тут мне показалось, что рука от моих губ, как бы зовя их за собой, потянулась к Машиному лицу. Скорее всего, просто Маша хотела убрать руку. Но я это понял именно как зов, остановиться мне было бы уж трудно, и я после коротенького сопротивленьица поймал неуверенные, дрожащие губы девушки.

А потом Маша ткнулась мне в плечо и расплакалась.

Переход от безрассудного чудачества к этим слезам был так неожидан, что я не знал, что и сказать. Вместо утешения я стал гладить ее мокрые волосы, мокрую от слез щеку, ее плечо.

— Ну зачем? Ну зачем? — всхлипывала Маша.— И вы тоже. И вы. Неужели это обязательно? Неужели этим всегда нужно платить за что-нибудь необыкновенное, за красивое?.. Неужели и вы, как эти мои подруги или как наша директриса?

— Чем же я похож на директрису, помилуйте!

— Все тем же самым. Они думают, что я каждый вечер беру лодку и езжу к рыбакам. Они не могут представить, чтобы в конце концов все не сводилось к этому. Что я ночью одна, просто так, плаваю по Иссык-Кулю. Сначала эти косые, насмешливые взгляды, эти намеки, а потом уж стали упрекать в открытую. А что я могла, как я могла их разубедить!

Девушка надолго замолчала, продолжая всхлипывать.

— Я думала, что бывает же что-нибудь, чтобы без задней мысли, без обязательного этого. Ну, просто море, или просто звезды, или просто ночь... Ну, прошу вас, не надо, ничего не надо. Мне тепло, хорошо рядом с вами. Давайте будем молчать и плыть.

Мы молчали и плыли. То есть неизвестно, плыли мы, подгоняемые ветерком и волной, или просто покачивались на месте. Иногда Маша поднимала с моего плеча свое казавшееся счастливым лицом и крепко закрывала свои светло-серые, а в темноте черные глаза.

— Конечно, там, на берегу, никто не думает, что мы рядышком сидим в лодке и можем просидеть так всю ночь. Знаете, что они скажут завтра: «Ну как, Машенька, вчерашний улов?» Страшно противно. Ну, а какой у меня улов?! Сидим — тепло. Бьется ваше сердце... Но если все равно все будут думать, что я с вами целовалась, лучше уж и правда целоваться, не так ли? Ну вот... Я думала, что вы мне докажете, что это не так, а вы молчите... Вы знаете, в конце концов со злости и чтобы не было по крайней мере пустых разговоров, я однажды ночью причалила к рыбачьему шалашу...

После этих слов мы оба молчали очень долго. Наконец Маша продолжила:

— Там никого не оказалось. Рыбаки в эту ночь ушли в море. Я сидела и жгла костер. Вам это не понять, как иногда хочется сделать назло. Я ведь не просила их думать обо мне плохо. Я ведь действительно просто каталась по Иссык-Кулю, потихоньку пела, вспоминала стихи. И с вами я поехала назло. Но втайне я хотела проверить: неужели ничего не может быть без этого, чтобы просто море, или просто звезды, или просто ночь... Но вот и вы захотели меня поцеловать.

В рассказе получается, что мы беспрестанно разговаривали. На самом же деле между каждой фразой шло время, длилось молчание, проходила ночь. Так, например, я не знаю, сколько времени мы молчали перед тем, как Маша негромко запела:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...

Пела Маша очень хорошо. То есть она пела вполне безграмотно с точки зрения какого-нибудь там вокального искусства, но как-то уж очень больно и очень сладко. А вместе с тем чисто и светло.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем...

Случилось так, что как раз под Машину песню начала проясняться непроглядная чернота неба. И прежде всего из безразличной и безграничной темноты проступили вдруг, смутно почудились, забрезжили зеленоватые пирамиды снежных гор. Через каких-нибудь четверть часа они уже полыхали то зеленым, то розовым огнем, хотя подножия, основания гор еще не было видно. Розовые и зеленые шатры висели во вселенной, беспристрастные, невозмутимые, не боящиеся того, что их может запачкать или опорочить дурной ли взгляд, грязная ли мысль, нелепые ли подозрения. Они были выше всего на свете и властно манили человеческий дух к себе, в свою абсолютную торжественную чистоту.

По дорожкам санатория нам пришлось идти, когда уже рассвело.

— Ну вот чего, чего мы боимся? — чуть не плача, говорила Маша.— Что мы сделали плохого? Ровно ничего. Отчего же нам было бы стыдно и неловко теперь, если бы вдруг попались люди и увидели нас вместе в этот час? Почему сразу же им пришла бы в голову не самая хорошая мысль: «Вот люди вместе слушали море, вместе встречали рассвет, начало нового дня, великое солнце...» — а самая плохая: «Ишь, до которой поры проваландались. Ну, как улов, дорогая Машенька?»

Попрощавшись с Машей, я тотчас же разбудил друзей. Через час-другой мы были далеко от гостеприимного санатория. Меня клонило ко сну. И, конечно, Володя и Романыч избрали это для своих острот и шуток:

— Кстати, Романыч, что ты хотел мне сказать вчера, когда мы уезжали на лодке?

— Я перед этим разговаривал с директрисой. Она мне описала эту Машу. Я хотел тебе сказать, чтобы ты не тратил времени на чтение стихов.

— Ну вот, стихов-то я ей как раз не читал,— ответил я. А километров через пять добавил: — И это единственное, в чем я могу себя упрекнуть и о чем жалею.

МСТИТЕЛЬ

Вместо того, чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копание картошки — чудесное занятие по сравнению с разными там умножениями трехзначных чисел на двухзначные, когда нельзя ни громко высморкаться, ни повозиться с приятелем (кто кого повалит), ни свистнуть в пальцы.

Вот почему все мы, и мальчишки и девчонки, дурачились, как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом.

Денек стоял на редкость: тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом.

Главное дураченье наше состояло в том, что на гибкий прут мы насаживали тяжелый шарик, слепленный из клеклой осенней земли, и, размахнувшись прутом, бросали шарик кто дальше. Эти шарики (а иной раз шла в дело и картошка) летают так высоко и далеко, что кто не видел, как они летают, тот не может себе представить. Иногда в синее небо взвивалось сразу

несколько шариков. Они перегоняли один другого, все уменьшаясь и уменьшаясь, так что нельзя было уследить, чей шарик забрался выше всех или шлепнулся дальше.

Как раз я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг услышал сильный удар промежду лопаток. Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону бежит от меня Витька Агафонов с толстым прутом в руке. Значит, вместо того чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут, промежду лопаток.

Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась; так бывало всегда, когда мне приходилось плакать. Не то, чтобы нельзя было стерпеть боль. Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.

Ну за что он теперь меня ударил? Главное — тайком, подкрался сзади. Ничего плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в круглую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «На любака» мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно. В последний раз мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит обиды после драки «на любака». Любак и есть любак — добровольная и порядочная драка.

Ни один человек на загоне не заметил маленького происшествия: по-прежнему все собирали картошку, наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы и в другой раз было неповадно.

Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я как ни в чем не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. А там уж в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же? Раз он меня сзади, значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» А потом уж и в нос...

В урочный день и час на большой перемене я подошел к Витьке. Затаенное коварство не так-то просто скрыть неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого: пригласить сверстника в лес жечь теплинку. Обычно уговариваешься об этом мимоходом, никакого волнения быть не может. На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось спрятать в карманы, потому что они вдруг ни с того, ни с сего задрожали.

Витька посмотрел на меня подозрительно. Его оттопыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели.

— Да уж... Я знаю, ты драться начнешь. Отплачивать.

— Что ты, я забыл давно! Просто пожгем теплинку. А то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их. У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил.

Между тем положение мое осложнилось. Одно дело—нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху: небось, знает кошка, чье мясо съела, а другое дело — весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы куда все проще. А то после моих слов он улыбнулся от уха до уха (рот у него такой, как раз от уха до уха) и радостно согласился: «Ну ладно, тогда пойдем».

«Вот я тебе покажу «пойдем»,— думал я про себя. Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспоминать, как он ни за что, ни про что ударил меня промежду лопаток, и как мне было больно, и как мне было обидно, и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, а в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать: значит, я накалился и готов к отмщению.

На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент: как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле, а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просило, чтобы я по нему стукнул что есть силы.

— Смотри, смотри! — закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения.— Шмель оттуда вылетел, я сам видел. Давай раскопаем, может быть, там меду полно.

— Надо вырезать острые лопаточки, а ими и копать землю, нож ты захватил?

Живо мы вытесали себе по отличной лопаточке и стали рыть. Дерн тут был такой плотный, что мы сломали по одной лопа-

точке, потом вырезали новые, а потом уж добрались до мягкой земли. Однако никакого меда или даже шмелиного гнезда в норке не оказалось. Может быть, когда-нибудь здесь вправду водились шмели, только не теперь. А зачем лазал туда шмель, которого увидел Витька, так мы и не узнали.

На опушке леса, в траве, мы тотчас наткнулись на стаю рыжиков. Опять наткнулся Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку.

Крепкие, красные, боровые росли грибы в зеленой траве. И хоть целый день грело солнце, они все равно были холодные, как лягушки. В большом рыжике в середке стояла чистая водичка, как все равно нарочно налили для красоты. Поджарить бы на прутике, да жаль, соли нет. Вот бы славно поели.

— Айда за солью,— предложил Витька.— Далеко ли — овраг перебежать. Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить.

«Айда за солью,— думал я, лелея по-прежнему свой злодейский замысел.— Только не думай, что все так и кончится. Уж когда сбегаем за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу, ты от меня не уйдешь».

Мы принесли соль и два куриных яйца.

— Теперь давай ямку копать.

В ямку мы положили яйца, засыпали их землей и на этом месте стали разводить теплинку. От огня земля нагреется, яйца в ней превосходно испекутся. Останется только подержать их в золе около горячих углей, чтобы немного пропахли дымком для вкусу.

Сначала мы зажгли небольшую сосновую веточку, пушистую, но высохшую, с красными иголками. Она вспыхнула от одной спички и горела так, словно гореть для нее — большая радость, то есть даже ничего нет на свете лучше, чем сгореть в нашей теплинке. Она вроде бы даже не горела, а плясала, как девчонка в ярком красном платьице... (Если вдуматься, Витька этот — не такой уж плохой мальчишка, и в лесу с ним интересно, только вот зачем он тогда меня треснул промежду лопаток. Теперь уж придется ждать, когда кончим жечь теплинку.)

На горящую сосновую ветку мы стали класть тонкие сухие палочки. Мы их клали сначала колодцем, крест-накрест, потом стали класть шалашиком. Постепенно пошли палочки потолще, еще потолще, и теплинка наша разгорелась ровным, сильным огнем. Она хотя и была небольшая, но сразу видно, что не скоро погаснет, если даже не подкладывать в нее дров.

Тут мы принялись за рыжики. Когда Витька насаживал на прутик свой первый рыжик, мне так и вспомнился тяжелый земляной катыш, которым он меня тогда огрел, и я уж подумал, не сейчас ли мне с ним расправиться, но решил, что всегда успеется, и стал насаживать свой рыжик. Рыжики шипели в огне, соль на них плавилась и вскипала пузыриками. Даже что-то с шипением капало в костер, не то соль, не то грибной сок. А кончики прутьев дымились и обугливались. Мы съели все рыжики, но нам хотелось еще, так они были вкусны и душисты. Да и соль оставалась, не выбрасывать же ее. Пришлось снова идти по грибы.

Когда мы раскапывали яйца, из земли шел пар — настолько она прогрелась и пропарилась. Надо ли говорить, что яйца упеклись на славу. Мы съели с ними остатки соли. Никогда я не ел яиц вкуснее этих. (Конечно, это Витька придумал печь яйца. Всегда он что-нибудь придумает, даром что уши торчат в разные стороны.)

Ну, что же, вот и теплинка прогорела, сейчас пойдем домой, и тут я должен буду... Что бы еще такое придумать, уж очень не хочется сразу идти домой.

— Бежим на речку,— говорю я Витьке.— Помоемся там, а то вон как перемазались. Водички попьем холодненькой. Бежим?

Все под руками у нас в деревне: лесок так лесок, речка так речка. Мы по колено заходим в светлую текучую воду, которая очень холодна теперь, в конце сентября, наклоняемся над водой и пьем ее большими, вкусными глотками. Разве можно воду из колодца или из самоварного крана сравнить с этой прекрасной водой! Сквозь воду видно речное дно — камушки, травинки, песочек. Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся, как живые.

Ну вот и попили и умылись. Делать больше нечего, надо идти домой. Под ложечкой у меня начинает ныть и сосать. Витька доверчиво идет впереди. Его уши торчат в разные стороны. Что стоит развернуться и стукнуть?

Что стоит? А вот попробуй, и окажется, что это очень непросто — ударить человека, который доверчиво идет впереди тебя.

Да и злости я уж не слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, после этой речки. Да и Витька, в сущности, неплохой мальчишка, вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот яйца стащить...

Ладно. Если он еще раз стукнет меня промежду лопаток, тогда-то уж я ему не спущу. А теперь ладно.

Мне делается легко от принятого решения: не бить Витьку. И мы заходим в село, как лучшие дружки-приятели.

НОЖИЧЕК С КОСТЯНОЙ РУЧКОЙ

Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое — поменьше. На каждом ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда нужно открыть. Пружины новые, крепкие — попыхтишь, прежде чем откроешь лезвие. Зато обратно только немного наклонить, так и летит лезвие само, даже еще и щелкнет на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и ножик превратился в бесценное сокровище. Например, нужно срезать ореховую палку. Нагнешь лозу, выглядишь то место, где самый изгиб, приставишь к этому месту ножичек — и вот уже облегченно раздалась древесина, а лоза висит почти что на кожице. Может быть, не все мне поверят, но палку толщиной с большой палец я перерезàл своим ножичком с одного раза, если, конечно, взять поотложе, чтобы наискосок.

Вырезывание свистка требовало, напротив, тонкой работы. И тут особенно важной была острота. Тупым ножом изомнешь всю кожицу, измочалишь, дырочка получится некрасивая, мохнатая по краям — какой уж тут свист, одно шипение. Из-под моего ножичка выходили чистенькие, аккуратные свистки.

С первого сентября открылось еще одно преимущество моего ножа. Даже сам учитель, Федор Петрович, брал у меня ножик, чтобы зачинивать карандаши. Неприятность как раз и произошла на уроке, при Федоре Петровиче.

Мы с Юркой решили вырезать на парте чего-нибудь, вроде буквы «В» или буквы «Ю» (теперь во втором классе мы уже знали все буквы), и я полез в сумку, чтобы достать ножичек.

Рука, не встретив ножичка в привычном месте, судорожно мыкнулась по дну сумки, заметалась там среди книжек и тетрадей, и ощущение непоправимости свершившегося холодком скользнуло вдоль спины. Забыв про урок и про учителя, я начал выворачивать карманы, шарить в глубине парты, полез было в Юркино отделение, но тут Федор Петрович обратил внимание на мою возню и мгновенно навис надо мной во всем своем справедливом учительском гневе.

— Что случилось, почему ты под партой? (Значит, уж сполз я под парту в рвении поисков.) Встань как следует, я говорю!

Наверно, я встал и растерялся, и, наверно, мой вид был достаточно жалок, потому что учитель смягчился:

— Что случилось, можешь ты мне сказать?

— Ножичек у меня украли... который из Москвы...

Почему я сразу решил, что ножичек украли, а не сам потерял, неизвестно. Но для меня-то сомнений не было, конечно, кто-нибудь украл: все ведь завидовали моему ножу.

— Может, ты забыл его дома? Вспомни, подумай хорошенько.

— Нечего мне думать. На первом уроке он у меня был, мы с Юркой карандаши чинили... А теперь нету...

— Юрий, встань! Правда ли, чинили карандаши на первом уроке?

Юрка покраснел, как вареный рак. Ему наверняка не нравилась эта история, потому что сразу все могли подумать на него, раз он сидит со мной рядом на одной парте. Про карандаши он честно сознался:

— Чинили.

— Ну, хорошо,— угрожающе произнес Федор Петрович, возвращаясь к своему столу и оглядывая класс злыми глазами.

— Кто взял нож, подними руку.

Ни одна рука не поднялась. Покрасневшие лица моих товарищей по классу опускались все ниже под взглядом учителя.

— Ну, хорошо! — Учитель достал список.— Барсукова, встать! Ты взяла нож?

— Я не брала.

— Садись. Воронин, встать! Ты взял нож?

— Я не брал.

— Садись.

Один за другим вставали мои товарищи по классу, которых теперь учитель (а значит, вроде бы и я с ним заодно) хотел уличить в воровстве. Они вставали в простеньких деревенских платьишках и рубашонках, растерянные, пристыженные, их ручонки, не привыкшие к обращению с чернилами, были все в фиолетовых пятнах. Каждый из них краснел, когда вставал на окрик учителя, каждый из них отвечал одно и то же:

— Я не брал.

— Ну, хорошо,— в последний раз произнес Федор Петрович.— Сейчас мы узнаем, кто из вас не только вор, но еще и трус и лгун. Выйти всем из-за парт, встать около доски.

Всех ребятишек, кроме меня, учитель выстроил в линейку около классной доски, и в том, что я остался один сидеть за партой, почудилась мне некая отрешенность, некая грань, отделившая меня ото всех, грань, которую перейти мне потом, может быть, будет не так просто.

Первым делом Федор Петрович стал проверять сумки, портфелишки и парты учеников. Он копался в вещичках ребятишек с пристрастием. И мне уж в этот момент (не предвидя еще всего, что случится потом) было стыдно за то, что я невольно затеял всю эту заварушку.

Прозвенел звонок на перемену, потом снова на урок, потом снова, но теперь уж не на перемену, а идти домой,— поиски но-

жа продолжались. Мальчишки из других классов заглядывали в дверь, глазели в окна: почему мы не выходим после звонка, и что у нас происходит. Нашему классу было не до мальчишек.

Тщательно обыскав все сумки и парты, Федор Петрович принялся за учеников. Проверив карманы, обшарив пиджачки снизу (не спрятал ли за подкладку), он заставлял разуваться, развертывать портянки, снимать чулки и, уж только вполне убедившись, что у этого человека ножа нет, отправлял его в другой конец класса, чтобы ему не мог передать пропавшее кто-нибудь из тех, кого еще не обыскали.

Постепенно народу около доски становилось все меньше, в другом конце класса — все больше, а ножичка нет как нет.

И вот что произошло, когда учителю осталось обыскать трех человек. Я стал укладывать в сумку тетради и книжки, как вдруг мне на колени из тетрадки выскользнул злополучный ножичек. Теперь я уж не могу восстановить всего разнообразия чувств, нахлынувших на меня в одно мгновение. Ручаться можно только за одно: это не была радость оттого, что пропажа нашлась, что мой любимый ножичек с костяной ручкой и зеркальными лезвиями опять у меня в руках. Напротив, я скорее обрадовался бы, если бы он провалился сквозь землю, да, признаться, и самому мне в то мгновение провалиться сквозь землю не показалось бы самой большой трагедией.

Между тем обыск продолжался, и мне, прожившему на земле восемь лет, предстояло решить одну из самых трудных человеческих психологических задач.

Если я сейчас не признаюсь, что ножик нашелся, все для меня будет просто. Ну, не нашли и не нашли. Может, его кто-нибудь успел спрятать в щель, за обои, в какую-нибудь дырочку в полу. Хватает щелей в нашей старой школе. Но, значит, так и останется впечатление, что в нашем классе учится воришка. Может быть, каждый будет думать на своего товарища, на соседа по парте.

Если же я сейчас признаюсь... О, подумать об этом было ужасно! Значит, из-за меня понапрасну затеялась вся эта история, из-за меня каждого из этих мальчишек и девчонок унизительно обыскивали, подозревали в воровстве. Из-за меня их оскорбили, обидели, ранили. Из-за меня в конце концов сорвались уроки... Может быть, им все-таки легче думать, что их обыскивали не зря, что унизили не понапрасну.

Наверно, не так я все это для себя сознавал в то время. Но помню, что провалиться сквозь землю казалось мне самым легким, самым желанным из всего, что предстояло пережить в ближайшие минуты.

Встать и произнести громко: «Ножичек нашелся!» — я был не в силах. Язык отказывался подчиниться моему сознанию или, может, сознание недостаточно четко и ясно приказывало языку. Потом мне рассказали, что я, как лунатик, вышел из-за парты и побрел к доске, к учительскому столу, вытянув руку вперед. На ладони вытянутой руки лежал ножичек.

— Растяпа! — закричал учитель (то было его любимое словечко, когда он сердился).— Что ты наделал? Вон из класса! Вон!

Потом я стоял около дверей школы. Мимо меня по одному выходили ученики. Почти каждый из них, проходя, задерживался на секунду и протяжно бросал: «Эх ты!..» Вот прошел Валька Грубов и сказал: «Эх ты!..» Вот прошел Юрка Семионов и сказал: «Эх ты!..» Вот прошла Катька Барсукова и сказала: «Эх ты!..»

Не знаю, почему я не бежал домой, в дальний угол сада, где можно было бы в высокой траве отлежаться, отплакаться вдалеке от людей, где утихла бы боль горького столкновения неопытного мальчишечьего сердца с жизнью, только еще начинающейся.

Я упрямо стоял около дверей, пока мимо меня не прошел весь класс. Последним выходил Федор Петрович.

— Растяпа! — произнес он снова злым шепотом.— Ножичек у него украли... Эх ты!..

НА ЛЫЖНЕ

Я воткнул лыжи в сугроб, около тропинки, чтобы они, стоявшие до этого в теплой комнате, немного остыли. Такая уж фантазия пришла мне в голову. Мне казалось, что к теплым лыжам «прикипит» снежок, может быть, даже успеет растаять и намочит их, тогда они будут хуже скользить, а ведь путь не близок.

Строго говоря, это никакой не путь, а замкнутый круг, кольцо, лыжня, проделанная отдыхающими санатория. Хорошим лыжным шагом можно пробежать часа за два.

В то время, когда я ерзал ботинком, стараясь попасть дырочками в подошве на шпеньки крепления, мимо проходила медсестра Наташа, совсем юная, темнобровая, большеглазая девушка. Ее накрахмаленный халатик поскрипывал на морозе. Он был такой же чистый, так же облит солнцем и так же отдавал синим в складках и затененных местах, как и мартовский снег, лежащий по обе стороны от тропинки. Глядя на него, хотелось зажмуриться, как и при взгляде на эти лебяжьи девственные снега.

Впрочем, я не знаю, возникло ли бы желание зажмуриться, если бы халатик просто висел на ветке дерева, например, вон той ольхи или вон этого орехового куста.

Итак, когда я запер крепление и распрямился, у носков своих лыж увидел Наташу. Она не стала обходить мои лыжи: узка и глубока была тропинка,— но ждала, когда я сверну в сугроб. Ее фигурка и весь ее вид выражали как бы капризную повелительность и сдерживаемое нетерпение, а в глазах было то самое, отчего мне и хотелось зажмуриться каждый раз, когда я попадал, ну, что ли, в их свет.

Я случайно оказался в этом санатории, где отдыхали все больше инженеры да ученые, и, видимо, необыкновенность моей профессии (композитор) была удивительна для Наташи. Я был тут залетной птицей. Может быть, даже легкое романтическое облачко окутывало меня в то время, когда Наташа останавливала на мне свои солнца, от которых, как я уж не однажды заметил, хотелось зажмуриться или по крайней мере опустить глаза.

Наташа улыбнулась и спросила меня:

— И вы на кросс?

— Не знаю, культурник вчера очень уговаривал принять участие. Вот уж воистину дело себе ищут.

— Разве плохо, кросс? — удивилась девушка.

Лыжня начиналась тут же, возле тропинки. Я сильно оттолкнулся, низко присел, чтобы проскочить под еловые ветки, скатился в овраг (ветер скорости пробил и куртку и свитер и на мгновение разлился по теплой груди), вынырнул из оврага на противоположную сторону и очутился прямо на старте.

— Давайте, давайте скорее! — уж начал командовать мною культурник.

И я подумал об условности бытия. Вчера этот Федя, умеющий играть на аккордеоне, громко, для публики, рассказывать анекдоты, уговорил меня. Я кивнул головой. Если бы я не кивнул, значит, я поехал бы сейчас куда мне нужно и как нужно, а теперь вот надо подчиняться команде.

— Давайте, давайте скорее. Видите, уж все собрались.

Никакого старта не было. Палкой прочертили снег, и теперь мы выравнивали носки лыж по черте, стараясь не переступить через нее хотя бы на четверть. Феде удалось уговорить пятнадцать человек. Тут были и вовсе пожилые женщины, и один доктор наук с длинной бородкой, долговязый, в очках, сынок профессора, запустивший растительность на лице, чтобы быть похожим на Хемингуэя. Никто, видимо, не воспринимал этого кросса всерьез, так же как и я.

Все рванулись со старта. У кого-то сзади заплелись лыжи. Послышался смех, визг. А я, первым попав на лыжню, не заметил, как пробежал поле и теперь бежал лесом.

Лет пятнадцать назад, в армии, мне много приходилось ходить на лыжах походами и участвовать в кроссах. Бывало, жмешь изо всех сил. Из-под шапки струями льется пот, попадает в глаза. Видишь только лыжню да носки своих лыж. Нет бы оглянуться по сторонам, восхититься торжественной сказкой зимнего леса, полюбоваться деревьями, сделанными из инея,— куда там! — только лыжня да носки лыж.

И в голове тоже не то чтобы связные мысли, а одно мельтешение. Потом сознание зацеплялось за какую-нибудь воображаемую детальку, например, за гороховый суп со свининой, который любил до армии, и уж не отпускало этого горохового супа до самого конца.

Ни армейская дисциплина, ни железная необходимость не руководили теперь мною. Но выработалась нелепая привычка: уж если встал на лыжи, то жми изо всех сил, пока не пробежишь замкнутого кольца. Теперь кросс, теперь понятно. Но и в предыдущие дни, катаясь на лыжах, я старался бежать изо всех сил, как будто меня подгоняют, как будто сама цель лыжной прогулки состоит не в том, чтобы прогуляться по лесу, но промчаться сквозь него, ничего не замечая, уткнувшись в носки собственных лыж и обливаясь пòтом.

А вот догоняет меня еще один фанатик. Либо он еще больший фанатик, чем я, либо лучше владеет лыжами. Иначе, почему же он меня догоняет? В другое время, тогда, лет пятнадцать или хотя бы десять назад, я, услышав за спиной напряженное нарастание погони, прибавил бы шагу и позволил бы обогнать себя только на самом быстром ходу. Теперь что-то новое и непонятное шевельнулось во мне. А я прислушивался к этому новому и не очень удивлялся. Может, и правда возраст — не просто слова или, может, что-нибудь неожиданно перевернулось в моем сознании?

Прежде всего я остановился, а потом сделал шаг в сторону. Долговязый, очкастый, с бородой под Хемингуэя, сынок профессора шел шагах в тридцати. Я подождал, пока он пройдет мимо, и тогда только снова встал на лыжню. Я поймал себя на том, что мне не хочется его догонять, хотя некоторое время без усилий я шел за ним, и он от меня ни капли не отрывался. Если это был предел парня, то я смял бы его очень быстро. Но вот мне не хотелось сминать. Пижон, стиляга, интеллигентский хлюпик обошел меня и идет впереди. Красные лыжи перекликаются с красным свитером, на рыжей шевелюре тает снег. Длинные руки бросают и бросают вперед палки. Во всей его

долговязой фигуре чувствуется превосходство, торжество победы, насмешка. А я (непостижимо!) и не пытаюсь наступать ему на пятки, властно, неумолимо потребовать лыжню.

Постепенно долговязый стал удаляться от меня, и это значило, что я сбавляю скорость. «Черт с тобой! Уходи, мчись, задыхайся, выбивайся из последних сил. Я не вижу, зачем это нужно делать. Тебя уже не видно, ты уже скрылся за деревьями. Тем лучше. Я пойду один, как хочу, и даже куда я хочу. Возьму и сверну с вашей нелепой круговой лыжни. Разве мало в лесу простору! Буду идти и смотреть на лес, на белый снег и синее небо. Хватит. Пятнадцать лет я бегал на лыжах, вкладывая все силы, не щадя сердца. В деснах появлялась боль, обильно набегала слюна, в глубине легких было так, как если бы во все легочные пузырьки под давлением нагнетали воздух, и надо было ждать, когда наступит второе дыхание. И надо было не думать ни о чем, смотреть и смотреть себе под ноги, на лыжи, вонзающиеся поочередно в белое пространство, которому все нет и нет конца».

Тяжелое дыхание послышалось сзади, и я снова сделал шаг в сторону. Теперь меня обгонял уж не юноша с запущенной бородой, а худой шестидесятилетний человек. Раздевшись до пояса и, видимо, побросав одежду прямо в лесу, энтузиаст рвался вперед.

— Очкастый, с тарзаньей прической, далеко? — крикнул он мне на ходу.

— Не очень, можно еще догнать.

— Так что же вы, черт возьми, не догоняете? Что вы раскисли? А ну-ка за мной! Хотите кусочек сахару... под язык... Хорошо помогает.

— Я не раскис, просто я не хочу так мчаться. Если вы хотите — валяйте.

Старик не обернулся на мои слова. Может быть, он их даже не расслышал.

Если юноша бежал легко, как бы любуясь самим собой, то этот, войдя в ритм, работал, как машина. С точностью рычагов руки поочередно выбрасывались вперед, и палки через поразительно ровные промежутки времени тяжело, устойчиво ударялись в снег. И ноги тоже двигались, как рычаги машины. И весь он был подчинен ритму движения, и чувствовалось, что ничего нет в мире для этого старика, кроме движения по лыжне, кроме желания догнать очкастого, кроме желания прийти первым.

Тогда дядя Федя, умеющий играть на аккордеоне и громко рассказывать анекдоты, пожмет ему руку, а вечером в столовой объявит, что первым пришел конструктор Салкин. Да, я вспом-

нил теперь, что старик этот был конструктором Салкиным из второй палаты.

— Ха-ха!—расхохотался я вслух. И мне показалось на мгновение, не схожу ли я с ума.— Вам хочется быстрее проскочить этот лес? Зачем? Ведь, может, в нем-то и есть вся прелесть и весь смысл. Эх вы, бедняги!

Чтобы больше никто уж не мог меня обгонять, я резко свернул вправо и тотчас же наехал на лыжню, проложенную отдыхающими другого, соседнего, санатория.

Я остановился, снял шапку и вытер пот со лба и лица.

Первое, что я увидел, осмотревшись, были снегири, прыгающие по веткам орешника. Птички шелушили что-то на кусте — не то сережки, не то почки,— шелушинки сорились на снег, снегири тоже спрыгивали на снег и, перепрыгивая и перепархивая с места на место, собирали корм.

Как ни ярок был день, как ни золотило солнце те места на снегу ли, на деревьях ли, куда оно попадало прямыми лучами, как ни густа была синева там, куда не достигало солнце, как ни розовели вверху безлистые купы берез, как ни ослепительно сверкали иногда крупные кристаллики снега, когда глаза мои попадали как раз на «зайчики», отбрасываемые этими кристалликами,— все же ничего не было ярче красных грудочек снегирей.

Снегири! Как же я не замечал их раньше! И вообще, когда я видел снегирей последний раз? Давным-давно, в детстве, когда мы с братом мастерили зимой кормушки для птичек, и к нам прилетали ярко-желтые овсяночки и красногрудые снегири, и надо было следить, чтобы не налетела сорока и не сожрала, а более того, не разбрыляла ногами весь корм.

Воспоминания окружили меня и, предавшись воспоминаниям, я медленно поехал по лесу.

Вскоре лыжню пересек рыхлый глубокий след лося. И я некоторое время шел, раздумывая о том, какое лось редкое и красивое животное, и что, с одной стороны, хорошо, что их стало много попадаться в Подмосковье, но что, с другой стороны, животные эти абсолютно бесполезные и даже вредные, ибо объедают верхние мутовки молодых деревьев, губят посадки, а лес драгоценней, чем лось, живущий в лесу, и поэтому вроде бы и хорошо, что развели лосей, но вроде бы и нет в этом ничего хорошего. И вообще в природе существует железная цепочка целесообразности, так что, разоймя одно звено, можно получить отдачу где-нибудь в другом месте цепочки, десятью звеньями ниже.

Наверное, далеко бы увели меня мысли в этом направлении, но тут я вышел на поляну и что-то отвлекло мое внимание, что-

то удивило меня прежде, чем я мог понять, что же меня отвлекло и удивило. Ну, конечно! Взгляд остановился на кустах ольхи, растущих посреди поляны. Не удивиться им было нельзя: среди всего синего (особенно синим было небо, а потом уж и снег и стволы берез) ольшаник был глубокого шоколадного цвета. Он так и бросался в глаза, и удивительно, что я не замечал раньше, какой шоколадный бывает ольшаник в лесу, освещенный мартовским солнцем.

Тишина запела во мне. От тишины отделился звук. Я закрыл глаза, и музыка зазвучала сильнее. Это было не бог весть что, но все же это была свежая, сильная тема, которая пришла ко мне в лесу. Я мог бы ее запомнить или записать на клочке бумажки, но, дурачась, я веткой стал рисовать на снегу нотные линейки и записывать фразу, только что родившуюся во мне.

Видимо, я увлекся, потому что как же я не услышал ни скрипа лыж, ни дыхания. Чистый женский голос, без фальши спел записанное мной на снегу, и это было удивительнее шоколадной ольхи, удивительнее синего неба, удивительнее воздуха, наполняющего лес. Это было удивительнее всего на свете.

Женщина с меня ростом, то есть роста для женщины необыкновенного, в тонком черном свитере с желтой полосой поперек груди, стояла, опираясь на палки, и смотрела на мою запись. Потом она посмотрела на меня.

Сначала я почему-то отметил лишь ее рост и желтую полосу на свитере. Наверно, это было еще тогда, когда она не подняла на меня своих глаз. А потом она посмотрела на меня, и я больше не видел желтой полосы и не думал о том, что такой рост должны иметь одни только королевы, то есть они должны были его иметь, когда были в цене и участвовали в романах и драмах.

— Что вы здесь делаете? — просто спросила женщина, как будто мы век были знакомы и вот случайно съехались на прогулке.

Мы поехали вместе — она впереди, я сзади, и это не мешало нам время от времени перебрасываться пустяковыми фразами. Но мелодия, случайно прилетевшая ко мне там, на поляне, может быть, одновременно уже звучала в нас обоих.

— Кто это напетлял такими маленькими следочками? — спросила она.

— Это ночью охотился горностай. Смотрите-ка, что здесь, оказывается, случилось.

В снегу виднелись две ямки, как если бы кто-нибудь дважды глубоко ударил лыжной палкой с широким концом.

— Здесь под снегом сидели тетерева. Горностай учуял их и нырнул к ним под снег. Вот эта норка. Тогда тетерева взмыли вверх, подняв снежные фонтаны. Только вот почему один взмыл свечой, а другой прочертил по снегу глубокую борозду, уж не унес ли он маленького хищника на себе? Так ведь иногда бывает.

— Фантазия,— рассмеялась женщина, и мартовская синева успела полыхнуть на ее зубах,— фантазия из охотничьих рассказов.

— Подойдите и загляните в ямку.

— Ой, и правда. (В ямке на дне лежали продолговатые, яркожелтые орехи тетеревиного помета.) С вами интересно ехать по лесу.

— Со мной интересно не только в лесу.— Я нарочно сказал так, чтобы услышать дежурное: «Какая самонадеянность!» Но женщина сделалась серьезной.

Некоторое время мы шли молча. Начался заметный спуск: сначала по чистому полю, а потом по густому кустарнику, так что нам пришлось лавировать, местами спускаться лесенкой, ибо не было простору спустить лыжи прямо с горы.

Наконец меж кустами открылась прогалина. Спутница первая пустила лыжи по ней. В самом конце спуска (снег был там рыхлый и затормозил лыжи) она зарылась в сугроб. Через несколько секунд я барахтался рядом. Снег набивался в уши, за воротник, в волосы. Он оказался совсем не холодным. Он радостно освежал. Он опьянил нас, и мы вели себя, как маленькие ребятишки. Я стал подымать ее за руки, но, поднявшись, она перевесилась на мою сторону, и мы опять оказались в сугробе. Мы засыпали друг друга снегом, помогали друг другу вставать, снова падали, хохотали и смотрели друг другу в глаза.

Потом она села. Я положил голову ей на колени и затих. И она тоже затихла. Сначала я глядел в синее небо, а потом закрыл глаза. Я не знаю, долго ли было так, может быть, пять минут, может быть, полчаса, может быть, полжизни.

Сделалось так тихо, что журчание ручья подо льдом наполнило весь мир. Значит, рядом бежал ручей, и вот журчание его стало слышимо из-подо льда. В то время, как я весь отдался пению воды, женщина наклонилась и поцеловала меня.

...Оказывается, в ручье все же была полынья — небольшая проталинка на быстринке, в которой среди голубого снега переливалась светлая струя воды. Камушки и песок просвечивали сквозь воду.

Мы долго стояли и глядели, как вода, выбегая из-под тем-

ного полого льда, встречалась с солнцем, и как ее снова утягивало в темноту.

— Эта проталинка — мой сегодняшний день,— сказала женщина.— Солнце, синее небо и песня. Я пойду, а вы идите обратно. Ничего больше не нужно. Было все самое хорошее, а дальше будет, как всегда и у всех. Не хочу. Прощайте!

Я сломал большую ольховую ветвь с маленькими сережками, плотными, скрючившимися так и сяк.

— Поставьте в воду у себя в комнате. Через несколько дней ольха зацветет. Видите эти сережки, они скрючены и смотрят кто куда. Потом они сделаются золотыми, большими и все тяжело повиснут среди коричневых ветвей, стремящихся вверх и в стороны, будут параллельными штрихами свисать вниз тяжелые золотые сережки. Это будет похоже на музыку. Только уборщица совсем заругает вас: по всей комнате будет летать золотая пыльца цветения.

Поднявшись на гору, издалека женщина помахала мне, и я подумал, что никогда больше не увижу ее, даже никогда не узнаю имени.

Когда я вышел на свою лыжню (она оказалась совсем близко), то никто уж не перегонял меня. Только сейчас мне пришло в голову, что там, где Федя, может быть, хватились меня, ждут или даже ищут. Как же так, ушел человек со старта и до сих пор нету.

Издали я увидел, что на горке, там, откуда мы рванулись, где должен быть финиш, все еще толпится народ. Заметив меня, на горке замахали руками и лыжными палками. Кровь стыда и позора бросилась мне в лицо. Федя не выдержал и побежал навстречу:

— Где же вы! Разве так можно! Все же коллектив... Перепугались. Трое поехали вас искать.

— Я сбился с лыжни и немного поплутал по лесу,— соврал я внятно и твердо.

— Мы так и подумали. Но очень уж трудно сбиться.

Около входа в корпус мне опять встретилась медсестра Наташа. В ее глазах тревога и даже испуг не сразу успели смениться радостью. Я спросил у нее, чтобы только что-нибудь спросить:

— Ну что, не слышали, догнал ли в конце концов Салкин этого рыжего и в очках, или так ему и не удалось этого сделать?

— У Салкина плохо с сердцем. Он дышит из кислородной подушки,— разве вы об этом не знаете?

— Нет, не знаю. Когда он обгонял меня на дистанции, нельзя было и подумать. Старик шел так красиво!

— Вас обогнал Салкин? — недоуменно спросила Наташа.

— Ну да, я и не старался убегать от него. Зачем? И ему не нужно было бежать через силу. Видите, что из этого вышло.

Глаза Наташи, всегда сиявшие мне навстречу, вдруг превратились в ледышки, как будто они даже сделались меньше. И голосок ее тоже оледенел.

— Это почему же вы не старались?

— Видишь ли, девочка, я пришел к выводу, что если по лесу на лыжах идешь тихо, то больше видишь, думаешь и чувствуешь, нежели когда летишь через него сломя голову.

— А самолюбие, а борьба, а цель? — вспыхнула девушка, и глаза у нее опять сделались большими.— Интересная у вас философия: «Мне здесь приятно, тепло и сыро»,— не так ли...

— Ну... из пустяка вы делаете слишком далеко идущие выводы.

— Да-да-да! — крикнула девушка мне вслед, когда я, уже сняв лыжи, поднимался по ступенькам.— Да, вы эгоист. Это философия ужа, горьковского ужа, понимаете! А у соколов рвутся сердца, и они не жалеют об этом.

Оглянувшись на Наташу, я понял, что уж больше никогда не засветятся для меня ее глаза, ее милые добрые солнца, в которых было столько восторга и как бы надежды или ожидания.

Войдя в комнату, первым делом я бросился к столу, чтобы записать музыку, которую нашел на лесной поляне.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Алексеевич Солоухин
КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

А 00069. Подписано к печати 11/IV 1963 г. Тираж 111 000. Изд. № 715.

Зак. 475. Форм. бум. 70×108 1/32. 0,75 бум. л.—2,05 печ. л. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.